

"Не тот" Бродский

Порой, говоря о творчестве одесских писателей двадцатых годов, говорят о раблезианстве и вспоминают фламандские натюрморты — так изобильно, вкусно описана еда у В. Катаева, Э. Багрицкого, И. Бабеля. Но один из поэтов того времени и впрямь словно сошел со страниц бессмертного романа Рабле. Это можно сказать о Давиде Бродском.

"Толстяком" называет его в письмах Кирсанов. Очень емко описание в мемуарах Осипа Кольчева: "Давид Бродский, добродушнейший толстяк, колоссального веса в вечной солдатской шинели, волочащейся по плодородной одесской земле, поэт, знавший наизубок всю русскую поэзию и даже прозу, свободно читавший наизусть "Деревню" Бунина и тем поразивший однажды, уже потом в Москве, А. Фадеева". Но "тучность Бродского таила в себе нешуточную силу. Однажды Иван Поддубный, выступая в одесском цирке, предложил желающему из зрителей с ним побороться. Вызвался Бродский и устоял в схватке с популярным борцом две минуты (иногда, рассказывая, Бродский увеличивал цифру: четыре или даже пять минут). Поддубный посоветовал ему серьезно заняться цирковой борьбой. Как знать, может быть, он дал Бродскому хороший совет. Знакомся с девушкой, Бродский сгибал руку и просил пощупать его бицепсы", — вспоминал Семен Липкин.

Давид Григорьевич Бродский родился 17 марта 1895 года в Аккермане, учился в одесском медине. О том, как именно учился, сохранились воспоминания С. Липкина: "У Давида Бродского была феерическая фотографическая память. Он принадлежал к тем редким людям, которые, прочтя газету, могут ее повторить всю от первой до последней строки, в газету не заглядывая. Он как-то мне рассказал: в годы военного коммунизма он был студентом медицинского факультета нашего Новороссийского университета, но, увлеченный писанием стихов, крайне редко посещал занятия. Наступили экзамены. Профессор покачал головой: "Вы посещали мои лекции? Я что-то вас не припоминаю", — но экзаменовывать не отказался. Бродский, выучив за несколько дней изданный профессором учебник, отвечал с блеском. Профессор был удивлен. "Странно, странно, — бормотал экзаменатор. — А что вы думаете по поводу..." — и задал трудный вопрос. Бродский на мгновение задумался, потом проговорил: "Ах да, в сноске", — и ответил правильно. "Что за сноска?" — с недоумением спросил профессор, но выставил незнакомому студенту пятерку".

Как и все одесские поэты начала двадцатых, был членом литературного кружка "Потоки Октября". Как и все одесситы-литераторы, перебрался в Москву в середине двадцатых. Как и многие, включая Багрицкого, жил в Кунцево.

Поэт, скажем так, малоизвестный. Переводчик — практически забытый (а ведь именно он первым в советское время переводил Артюра Рембо). И вместе с тем в воспоминаниях сохранился колоритный персонаж, порой трагический, порой комический.

При этом практически не упоминали, что был он полиглотом, что знал чуть ли не двадцать языков, что порой, переведя с подстрочника, начинал учить язык и переводил заново (так, например, дважды переводил с литовского поэтов восемнадцатого века).

Пожалуй, больше всего вспоминал о нем Липкин. Ведь Бродский чуть не стал его "крестным отцом". Когда юный автор принес свои стихи в одесскую газету, его отправили к консультанту.

"На одном из столов лежал, закрыв глаза, толстый, очень толстый мужчина в сандалиях на босу ногу. Он лежал на спине, держа под головой могучие круглые руки...

Давно небритый толстяк с некоторым сонным любопытством приоткрыл один глаз. Несколько минут он озирал меня этим глазом. Я прервал тягостное молчание: "Гражданин консультант, прочтите мои стихи". Толстяк открыл и второй глаз, взгляд у него оказался добрый. Сойдя с конторского стола, незнакомец, большой, тучный, улыбнулся близоруко и сказал, приятно картавя: "Какой я тебе гражданин, гы-гы. Так ты пишешь стихи? Для этого надо много прочесть. Впрочем, раз уж ты начал писать стихи, так ты меня знаешь. Там (он протянул свою атлетическую руку в сторону типографий) набираются мои стихи. Завтра их прочтет вся Одесса! Я — Давид Бродский".

Узнав, что начинающему автору фамилия Бродского ничего не говорит, переадресовал его Эдуарду Багрицкому. "Сейчас придет другой товарищ, которому поручено читать самотек. Черная работа, она не для Давида Бродского, гы-гы. Вот ему ты покажешь свои стихи. Он романтик, а я реалист. Понимаешь разницу?" И из другого очерка: "Был он очень начитан, отлично знал литературу, прежде всего, конечно, русскую поэзию и прозу — очень многое наизусть, — но также и французскую, которую читал в подлиннике, и всю мировую — по переводам. У него был тонкий, выверенный вкус, но проявлял он его скорее в прочитанном, а не в том, что писал сам. А писал он и свое, и переводы натужно, медленно, ища слова и рифмы незатертые, часто в ущерб музыке и содержательности. Он читал мне наизусть русских поэтов — от Ломоносова до Белого, и французов — от Юго и Виньи до Аполлинера, обращая мое внимание на звукопись или необычные синтаксические построения. Например, в пушкинской строке: "И скроется за край окружных гор" в трех "кр" слышится осеннее карканье ворон... Я ему многим обязан, в моей душе залегло чувство благодарности к нему".

Летом 1926 года Бродский перебирается в Москву и поселяется в Кунцево. Кирсанов желчно комментирует его переезд: "Сообщают мне, что толстяк собирается в Москву. Он сумеет. Такие халтурмены здесь на хорошем счету".

В чем-то Кирсанов, и сам более чем пробивной, был прав. Конечно, действовал Бродский не как Кольчев, "гаврилады" он не писал — образование не позволяло. Но вот как все тот же Липкин описывал процесс получения гонорара. "Он умело использовал свою память для сугубо материальных выгод. Мне запомнилось: мы вместе приезжаем из Кунцева в редакцию "Нового мира", в котором я начал печататься в 1930 году. Весь штат редак-

ции, размещавшийся в здании "Известий" в двух комнатах, состоял в ту далекую пору из пяти человек. Н. Замошкин заведовал критикой, литературоведением, библиографией, Н. Смирнов – прозой, М. Зенкевич принимал два раза в неделю поэтов... Все они сидели в довольно поместительной комнате, из которой дверь вела в небольшой кабинет редактора журнала Вячеслава Павловича Полонского, влиятельного критика... Из кабинета Полонского дверь вела в третью комнату, гораздо большую, чем первая. Здесь помещалась редакция тонкого журнала "Красная нива", редактировавшегося тем же Полонским. Из своей проходной комнаты он руководил обоими изданиями, и нередко то, что не достигало уровня толстого журнала, помещалось в тонком...

Бродский, высокий, тучный, близорукий, устраивал в редакции "Нового мира" концерт. Он знал, что и Замошкин, и Смирнов – страстные поклонники Бунина, и ловко сводил речь на великого писателя, которого после ликвидации нэпа у нас перестали печатать.

– А "Деревню" помните? Хорошо, гы-гы, – ликовал Бродский и начинал читать знаменитую повесть наизусть. Дойдя до слов: "А бежать от борзых не следует", он смеялся счастливым смехом: гы-гы, – и продолжал чтение.

Редакционная работа прекращалась. Входящим посетителям делали знак: мол, не прерывайте чтения. Открывалась дверь кабинета, появлялся настроенный по-деловому Полонский, измученный баталиями с рапповцами, но, забыв о деле, становился одним из слушателей. Когда раздавался телефонный звонок, Вера Константиновна брала трубку и очень тихо в нее говорила: "Он сейчас занят, заседает редколлегия".

Чтение кончено. В окне Страстным бульваром овладевает закат. Любовь к Бунину распространяется на чтеца.

– Что вы нам принесли, Давид Григорьевич?

Этого-то он и ждал – и протягивал написанное печатными буквами стихотворение о приближающемся лете (осени, зиме, весне) с некоторыми социальными черточками: колосятся хлеба, или гудят фабрики, или школы наполняются красногалстучной детворой. Полонский, прочитав, говорил:

– Это, разумеется, для "Нивы"?

Бродский так и рассчитал, и когда Полонский удалялся к себе в кабинет, выпрашивал у Веры Константиновны "авансик, гы-гы". Та нехотя выписывала и выдавала поэту небольшую сумму".

Эмиль Миндлин вспоминает две истории, случившиеся в доме Багрицкого в Кунцево. В первой – Багрицкий вдохновенно рассказывает о том, как Сен-Жюст зашел к Марату по дороге в Конвент.

"– Он не мог постучаться к Марату по дороге в Конвент, – слышалось из угла, где сидел, перечитывая истрепанную книжонку, главный кунцевский библиофил – огромный детина с давно нечесаной мелко вьющейся шевелюрой.

– Интересно, почему это не мог, – строптиво спросил Багрицкий.

— Марат жил совсем в другой стороне.
Багрицкий, ни слова не говоря, достал с полки книгу с планом Парижа..
— Идите сюда, смотрите сами.
— Мне не нужно ничего смотреть, — невозмутимо отвечивал библиофил. — Я и так себе все представляю... Если я чего не знаю, я про это не говорю, — назидательно заметил библиофил.

Реакция Багрицкого была неожиданной.

— Севка! — крикнул он... — бери мое ружье и стреляй в этого человека.

Севка... подпрыгивая и гримасничая, подступал все ближе и ближе к знатоку топографии великого города, тому пришлось покинуть зал заседаний, так и не насладившись победой.

И ссора между двумя друзьями длилась до тех пор, пока, столкнувшись где-то нос к носу, они не нашли в себе силы посмеяться над недавними разногласиями".

Вторая ссора была намного серьезней. Примерно в конце 1926 года Багрицкий и Бродский написали пародийную поэму "Не Васька Шибанов", высмеивающую руководство РАППа (Российской ассоциации пролетарский писателей). Поэма имела большой успех, и Бродский, по воспоминаниям Миндлина, часто "намекал своим слушателям, что истинным ее создателем был он один, а участие Багрицкого в сочинении поэмы сильно преувеличено". Тогда Багрицкий с компанией друзей устроил заговор. В результате в адрес библиофила Бродского пришла повестка с не очень внятным названием учреждения на Мясницкой улице (на ней же размещалось и НКВД), и в кабинете он увидел "строгое лицо сидевшего перед ним человека. Человек указал посетителю на стул и предложил папиросу. Он утверждал потом, что эта папироса окончательно добила библиофила". По утверждению Миндлина, строгим следователем был писатель Иван Катаев, "автор отличных рассказов, известных всем, кроме библиофила, по уши погруженного во французскую поэзию восемнадцатого столетия". Б. Сарнов, со слов Липкина, отводит эту роль Евгению Петрову, то есть Катаеву. (Катаев-младший сам недавно был настоящим следователем.)

Кто бы из Катаевых ни вел допрос, результат был следующим: Бродский покался, отрекся от авторства, осознал свои кратковременные заблуждения. Собеседника "несколько смягчила эта покаянная речь, и, взяв с библиофила торжественное обещание никогда больше не читать вслух злокозненное сочинение, он продиктовал ему текст заявления, в котором тот торжественно отказывался от своего участия в сочинении "Не Васьки", и наконец отпустил с миром.

А на другой день Багрицкий в присутствии большого количества благородных с трудом удерживающихся от смеха свидетелей во всеуслышание огласил текст этого отречения и потребовал от соавтора объяснений.

Соавтор молчал. Охотнее всего он бы, вероятно, в эту минуту заплакал или выстрелил в воздух из пистолета, или провалился под землю, но увы, все это было одинаково неосуществимо.

Тогда он сделал единственное, что ему оставалось, — выбежал из комнаты, хлопнув дверью с таким отчаяньем, что из стены вывалился большой кусок штукатурки”.

К этому можно отнести как к забавной шутке над любителем легкой славы, но мало кому известно, что у этой веселой истории есть и предыстория, случившаяся немного раньше.

С. Липкин:

”Почти каждое утро часов эдак в десять-одиннадцать сибиряки и одесситы сходились на железнодорожной платформе: у всех были дела в городе, бегали по редакциям...

Однажды на станции, когда вдали показался надвигающийся из Можайска паровоз, Павел Васильев обратился к Бродскому, отдавая честь:

— Ваше высокоблагородие господин полковник, состав подан.

В те годы полковников в Красной Армии не было, слова вроде ”полковник”, ”генерал” были белогвардейскими... Бродский, небритый, в долгополой шинели, которую он носил лет десять, со времен гражданской войны (он в ней не участвовал), действительно походил на затаившегося в московском пригороде бывшего белого офицера. Васильев это талантливо уловил.

Когда поезд прибыл на Белорусско-Балтийский вокзал, навстречу нашей литературной бражке быстро направился человек в известной всем военной форме. Приблизясь к Бродскому, он предъявил удостоверение сотрудника железнодорожного пункта ГПУ и приказал:

— Следуйте за мной.

Еще блаженно не имея опыта массовых арестов, мы кричали, требовали объяснить, в чем провинился наш товарищ, но военный только посмеивался, пока не втолкнул большого, до смерти перепуганного Бродского в железнодорожное белорусско-балтийское отделение ГПУ.

Все разошлись, разбрелись в поисках заработка, а я решил остаться на вокзале до тех пор, пока не выпустят Бродского. Завечерело, а моего старшего сожителя все нет. Может быть, его выпустили, когда я пошел в буфет за бутербродами? Я вышел на перрон и скоро сел в поезд.

Бродский вернулся поздно ночью. Лаяли пригородные собаки. Хозяйка, Любовь Николаевна, вошла к нам в халатике, чтобы сделать выговор за позднее возвращение, но увидев Бродского, замолкла на полуслове. Он был блее мела, руки и губы его дрожали. Далеко не храброго десятка, он сейчас находился целиком во власти трусости. Кто посмел бы его винить?

Хозяйка покинула нас, сердясь и недоумевая. Я на кухне, стараясь не шуметь, поставил на керосинку чайник. Испив чаю и жадно проглотив два бутерброда, которые я приберег для него, Бродский испуганным шепотом стал рассказывать.

Сперва его заперли одного в маленькой комнатушке. Только часа через четыре на-

чали допрашивать: возраст (паспортов еще не было), откуда родом, профессия, когда начал службу в белой армии, в каком чине из нее выбыл, где воевал. Представляю себе, что чувствовал при этом допросе наш добрый, боязливый, безвольный и безвестный поэт!

Он отвечал: в белой армии никогда не служил, во время гражданской войны печатался в одесских газетах и журналах, предъявил билет сотрудника "Комсомольской правды" (он был внештатным консультантом по поэзии), попросил позвонить заведующему литературным отделом этой газеты Джеку Алтаузену, тот подтвердит, дал телефон редакции.

— Позвоним, позвоним, — успокаивали его и опять увели в ту комнатку, в которой он провел жуткие часы. Дверь заперли.

Он не помнит, сколько прошло времени, когда его вызвали снова.

— У нас есть сведения, — сказали ему, — что некий Бродский, уроженец Гомеля, занимается спекуляцией, едет каждую неделю в Москву, в Наро-Фоминске пересаживается в пригородный поезд. Не отпирайтесь, вы — этот Бродский.

— Что вы, я никогда не был в Гомеле, я родился и жил безвыездно до двадцати четырех лет в Одессе, теперь живу в Кунцеве, я поэт, никогда не спекулировал, работаю в "Комсомольской правде", вы же видели мое удостоверение.

— Дайте сюда удостоверение. Выясним.

И Бродского опять увели. В начале двенадцатого ночи ему вернули удостоверение, выпустили, не извинившись, разумеется. Он успел на поезд в одиннадцать сорок пять.

Испив несколько стаканов чаю, съев бутерброды, он бросился в кровать не раздеваясь, в ботинках. Спал до двух часов дня. Первые его слова, когда он проснулся, были такими:

— Подлая тварь твой дружок Васильев, недаром Эдя Багрицкий терпеть не может ни его, ни его стихов".

Но на этом мытарства Бродского не закончились. Нелегкая занесла его к Мандельштаму в роковую ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года. Еще при жизни Бродского начали ходить в списках воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. В первом варианте фамилия названа не была, позднее Н. Я. впрямую называет Бродского.

"День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О. М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засел в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Слуцкого и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке, — газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к госте покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. "Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне. — Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание посидели..." Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. "Это за Осей", — сказала я и пошла открывать... За дверью стояли мужчины — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог.

...Из большой комнаты вышел О. М. "Вы за мной?" — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: "Ваши документы". О. М. вынул из кармана паспорт.

Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

...Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: "Пускай Мандельштам сам ищет", — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам, и усталые чекисты даже не скашивали нам след за глазами, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распорядившийся обыском, насмешливо на него поглядел: "Можете идти домой", — сказал он. "Что?" — удивленно переспросил Бродский. "Домой", — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам посажен, чтобы мы, услышав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей".

И репутацию Бродского омрачает тень подозрения.

Современники сомневались в истинности утверждения Н. Я. "В своих умных и значительных "Воспоминаниях" Н.Я. Мандельштам полагает, что в ночь, когда ее мужа арестовали, Давид Бродский был посажен к Осипу Эмильевичу, писал Семен Липкин.

"Но для чего надо было высаживать Бродского? Гепеушники в этом не нуждались, так, насколько мне известно по рассказам пострадавших семей, никогда не делали, добыча доставалась охотникам за людьми без каких-либо забот и тягот.

Я могу допустить, что Бродского вызывали, что он струхнул не на шутку, что, дрожа от страха, давал какие-то обязательства, но не было нужды в том, чтобы он стерел Ман-

дельштама в запланированную ночь ареста. Бродский отказался бы от этого именно из-за своей трусости. Добавлю к вышесказанному, что Бродский принадлежал к тому типу людей, которые никак не в силах покинуть дом хозяев, а спешить некуда было, к тому времени однокомнатная квартира Бродского помещалась в том же подъезде дома в Нащокинском, что и квартира Мандельштамов. К тому же Бродскому несомненно хотелось блеснуть эрудицией перед Мандельштамом и Ахматовой, которая в ту ужасную ночь была в доме своих друзей. Я думаю, почти уверен, что, когда пришли "они", Бродский испугался больше, чем Мандельштам, отсюда его сопение и храпение. Обвинить советского человека в стукачестве очень легко, иди проверь, ручаться нельзя ни за кого — или почти ни за кого. Такого рода обвинения надо делать крайне осторожно, а Надежда Яковлевна такую осторожность не проявила".

Допустим, это слова друга, а друзья всегда не склонны верить в худшее.

Но вот слова человека совершенно нейтрального, Ефима Григорьевича Эткина: "Узнал, что Надежда Яковлевна Мандельштам то ли написала, то ли говорила (но совершенно определенно), будто известный переводчик Давид Бродский — стукач. Имя и судьба Надежды Яковлевны таковы, что не считаться с ней нельзя. А в это время как раз выходили два тома "Мастера русского стихотворного перевода", куда я включил перевод Д. Бродского ("Пьяный корабль" А. Рембо). Решил поехать в Москву, все узнать из первых рук. Приехал. Спрашиваю: "Откуда вы взяли?" — "А я в этом не уверена. Кажется, кто-то сказал, но я ничего не знаю". Я, разумеется, оставил перевод Д. Бродского".

Незвирая на это, описание "стукача" Бродского до сих пор входит в воспоминания Н. Мандельштам. В общем, то ли он украл, то ли у него украли...

Умер Давид Бродский в 1966 году. В архиве РГАЛИ хранятся сотни, если не тысячи его рукописей с переводами. И на большей части пометки "не пойдет".

У поэта и, по суровой необходимости, переводчика Георгия Шенгели есть баллада-пародия, в которой описана жизнь переводчиков в тридцатые годы. И что характерно, большинство упоминаемых — одесситы. А главный герой — и вовсе Давид Бродский. Баллада впервые опубликована Е. Витковским на сайте "век перевода", а в альманахе она публикуется впервые. Забавно, что и речь в ней идет об альманахе.

Георгий ШЕНГЕЛИ

Замок Альманах

На рассвете поднявшись, пиджак натянул
Переводчик Бродский Давид
И уныло зевнул, и уселся на стул,
Хоть исподний убор позабыт.